
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

“СВОБОДЫ ДРУГ МИРОЛЮБИВЫЙ”

Из этюдов на пушкинскую тему

Л.А. Коган

В канун нового тысячелетия образ Пушкина все больше освобождается от упорно навязывавшегося ему ореола самоупоенного гедонизма и элегической умиротворенности. Он куда глубже, противоречивей (при всей своей цельности) и драматичней. Страстное жизнелюбие и лучезарность сочетаются в нем с глубоким осознанием трагизма жизни (вспомним его признания: “...печали ранние мою теснили грудь...”, “...и горько жалуясь, и горько слезы лью, / но строк печальных не смываю...”, “Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...”), сострадательностью, самоотверженным правдоискательством. Этим он, пожалуй, ближе и понятней нам (знающим, что такое мировые и гражданские войны, сталинские и гитлеровские лагеря смерти, атомные катастрофы, крушение империй и идеологий), чем своим современникам, людям относительно благополучного XIX века.

Жажда гармонии, Пушкин был невероятно чувствителен к контрапунктности бытия, его роковым минутам и кричащим парадоксам, противоречиям страстей и “странным сближениям”. Даже его любимая Татьяна “тайну прелесть находила и в самом ужасе...”. Но главными в его жизни и творчестве остаются неугасимое свободолюбие и свободомыслие. Эта доминанта выражена в его самооценках: “свободы друг миролюбивый”, “свободы сеятель пустынный”, “одна свобода мой кумир”.

О ПОЭМЕ “АНДЖЕЛО”

Книгопродавец. Что ж выберете вы?
Поэт. Свободу.

А.С. Пушкин
“Разговор книгопродавца с поэтом”

Недавно исполнилось 165 лет одной из последних поэм Пушкина “Анджело”, которая занимает особое место в его наследии, имеет необыч-

ную судьбу. Современная поэту периодика встретила ее холодно. Некоторые критики увидели в ней творческое угасание автора. Еще Гоголь предостерегал: “По справедливости ли оценены последние его поэмы?” Сам же автор “Анджело” высказался о своем детище вполне определенно: “Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал”¹.

Откуда это расхождение? Что имел в виду Пушкин, давая своей поэме столь высокую оценку, притом не в полемическом запале, а в доверительной беседе со своим другом П.В. Нащокиным? Перед нами загадка, тем более требующая осмысления, что при всех своих достоинствах “Анджело” уступает в чисто эстетическом плане многим сочинениям Пушкина – тут нет присущей им яркости красок, живогодыхания природы, ее пластики и полифонии. У Пушкина обычно высок цветовой индекс (отношение упоминаемых красок к числу печатных знаков). Взять хотя бы “Медный всадник”, написанный почти одновременно с “Анджело” и пленяющий, кроме всего прочего, богатством цветовой гаммы: тут и темно-зеленые сады, и солнечные лучи, и прозрачный сумрак, и золотые небеса, и синий лед, и “утра луч / из-за усталых бледных туч”, и “пунша пламень голубой”, и светлая адмиралтейская игла, и “девичьи лица ярче роз”. В “Анджело”, напротив, преобладает приглушенный сумрачный фон, своеобразная (не лишенная горькой иронии) аскеза. Вместе с тем эта поэма кровно близка по своей духовной тональности тому же “Медному всаднику”, “Маленьким трагедиям” и более позднему каменноостровскому циклу. И тут и там духовное самоопределение героев происходит в чрезвычайных обстоятельствах, в прямом противостоянии жизни и смерти, у бездны на краю. И там и тут звучит вечный вопрос: быть или не быть? – в его глубинно-сущностном ракурсе: речь идет не просто о выживании, продлении физического существования любой ценой, но о решающей нравственной мотивации этой альтернативы. “Быть” означает тут *быть Человеком* (с большой буквы), оставаться им в любых, даже самых сложных, критических, нечеловеческих условиях.

“Анджело” – последний аккорд пушкинского шекспиризма: вольный перевод, вернее переложение, пересоздание, творческое переосмысление пьесы Шекспира “Мера за меру”. По сути же, по духу своему – это самобытное пушкинское творение, не комедия, а драматическая поэма, одна из финальных исповедей русского гения. Если Шекспир сосредоточивался в своей пьесе на свободе любви, преодолеваемых ею преградах и допустимых пределах аффективного самовыражения, то Пушкин, сохраняя всегдашнюю верность этой теме, переносит в данном случае центр тяжести на трагическое противостояние *свободы и рабства* в общегражданском, философско-историческом, этическом диапазоне этих понятий. Вот почему главным объектом его анализа становится тиран Анджело, инфраструктура абсолютистски-тоталитарного сознания, жестокость которого нераздельна с лицемерием и ханжеством. В этом образе фокусируется самое враждебное и ненавистное нашему поэту, все то, что он считал первоисточком всех бед. Он и сам безысход-

но страдал от произвола самовластных злодеев, придворной черни. В то же примерно время, когда появилась его поэма, он пишет жене: “Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым им можно поступать как угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога”². В другом случае Пушкин приводит (явно применительно к себе) слова старинной песни: “Неволя, неволя, боярский двор”. Это – болевая точка его жизнесприятия. Она обобщенно выражена в плане статьи, посвященной проблеме цивилизации: “О рабстве и свободе (как противовес)”. Суть дела не в пределах свободы, а в границах власти, в необходимости ее служения человеку. Противопоставление свободы рабству – лейтмотив “Анджело”.

Значимость этой поэмы для Пушкина определялась прежде всего тем, что она приурочивалась к предстоящему десятилетию расправы над декабристами и призвана была (наряду с другими акциями) готовить общественное мнение к необходимости их освобождения, “прощения”, стать одним из побудительных импульсов к их амнистии. Этой цели служил ряд выступлений Пушкина. Еще в стихотворении “Стансы” он ставил Петра Великого в пример Николаю I:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд
И памятью, как он, незлобен.

Десять лет спустя Пушкин публикует стихотворение “Пир Петра Первого”, в котором вновь взывает к *незлобivosti*, немстительности царя, ссылаясь на Петра Великого, который “проценье торжествует, как победу над врагом”. В 1836 г. С.Н. Дирин, подвизавшийся на издательском поприще и близкий семье сыльного Кюхельбекера, передал Пушкину для прочтения письма последнего. Тогда же Пушкин содействовал выходу в свет (естественно, без упоминания имени автора) книги Кюхельбекера “Русский Декамерон 1831 года”. В том же году в Санкт-Петербурге была издана переведенная Дириным книга итальянского карбонария Сильвио Пеллико “Об обязанностях человека, наставление юноше”. И, что особенно интересно, еще до ее опубликования Пушкин поместил в журнале “Современник” свой хвалебный отзыв об этой книге, а Дирин затем включил его в текст своего предисловия к ней. Вот что он писал по этому поводу: “...надо было найти голос, сильный голос, любимый публикою и владеющий ее доверенностию, который бы бескорыстным приговором утвердил у нас достоинство писателя и защитил бы его от нападений, клеветы и невежества. Я ждал недолго. Вышел третий номер “Современника”, а с ним и статья о моей книге. Тут только мы увидели Пеллико в его голубиной чистоте: его душа, которую не сокрушили несчастья, была разгадана поэтом. Эта характеристика, краткая и сильная, показалась мне лучшим предисловием, какое я мог только прибрать к своей книге, и я не могу себе отказать в удовольствии списать ее здесь”³. Вряд ли можно усомниться в том, что перед нами согласованные действия, связанные с близкой сердцу поэта, глубоко его тревоживший датой. Пушкин характеризует

Пеллико (освобожденного, кстати сказать, досрочно) как страдальца, несчастного узника, десять лет проведенного в заключении. Поэт относит его к числу “человеков благоволения” и сравнивает его моральную проповедь с Евангелием. В книге Пеллико отстаиваются идеи человеколюбия, нравственного достоинства личности, гуманного патриотизма. В 1836 г. в Москве были изданы “Записки” того же автора, призывавшие к отказу от ненависти и к облагорожению души. Эти книги доходили и до декабристов, усматривавших в судьбах итальянского вольнодумца сходство со своей. Активное участие Пушкина в этих начинаниях – еще одно свидетельство его несгибаемого мужества, самоотверженности: он хорошо знал, чем рискует, прибегая к столь “странным сближениям”.

Идея милосердия насквозь пронизывает и “Анджело”.

Основные персонажи этой поэмы: Дук (от лат. *duco* – вести, командовать; *ductor* – вожатый, предводитель; отсюда итальянское “дуче” – вождь) – добрый, но слабый, мягкотелый градоначальник; Анджело – жестокий наместник этого города, обладающий всей полнотой власти, который своими расправами повергает его жителей в ужас; молодой легкомысленный патриций Клавдио, приговариваемый за внебрачную связь к казни; Изабела – сестра Клавдио, стремящаяся его спасти. Когда она обратилась с этой просьбой к Анджело, тот, сбросив маску непреклонного блюстителя закона и нравов, фанатика целомудрия, поставил свое условие: он пощадит брата, если сестра пожертвует своей женской честью.

Вот ключевое обращение Изабелы к жестокосердному фанатику-святоше:

...ни царская корона

Ни меч наместника, ни бархат судии,
Ни полководца жезл – все почести сии –
Земных властителей ничто не украшает,
Как милосердие. Оно их возвышает.

...Подумай: если тот, чья праведная сила
Прощает и целит, судил бы грешных нас
Без милосердия; скажи: что было б с нами?
Подумай – и любви услышишь в сердце глас...
И новый человек ты будешь.
Будь милостив!

Призыв к состраданию мощно звучит и в поэме Пушкина “Тазит”, и в итоговом стихотворении о нерукотворном памятнике, – в словах о *милости к падшим* (нераздельной с восславлением свободы).

В этих выступлениях Пушкина был определенный актуально-исторический подтекст, связанный с желанием помочь своим страдающим друзьям, однако из этого вовсе не следует, что тут слышатся отзвуки продекабристских настроений. С романтическим радикализмом юности (тоже, впрочем, имевшим у Пушкина не столько идеологическую, сколько морально-психологическую окраску) было давно покончено, пути поэта и “бунтовщиков” далеко разошлись, хотя он и продолжал их

высоко ценить как личности героические, достойные уважения. Верил ли Пушкин в возможность добиться их амнистии? В какой-то степени, может быть, и верил, вернее, хотел верить (тем более что соответствующие заверения он, вероятно, слышал от царя в известной беседе с ним). Но полной уверенности в успехе у него, конечно, не могло быть, поэт не страдал наивностью. Речь шла не о солидарности с “нашими каторжниками”, а о сочувствии, сострадании к ним. Гуманистическая направленность пушкинского творчества далеко выходит за рамки каких-либо локальных ситуаций, она всегда оставалась сердцевинной всей его деятельности. В 30-е годы он был глубоко озабочен восходящим к античной философской традиции исканием Человека, “собираанием” его, формированием в своем творчестве его духовно-целостного образа, стремлением к нравственному идеалу. С этим связано и растущее внимание Пушкина к религии, его интерес к Евангелию, особенно к образу Христа как символу добротворения. Это имело, мне кажется, не только и не столько собственно конфессиональную, сколько моральную, правдоискательскую направленность. Вспоминая о работе поэта над “Египетскими ночами”, его первоиздатель П.В. Анненков пишет: “Пушкин хотел ввести в рассказ свой лицо раба-христианина, который должен был, вероятно, служить живым осуждением равнодушия или упоения, с каким языческий мир встречал смерть, оскорбляя тем величие и значение ее, и живым опровержением потех язычества и лжемудрствований его философов”⁴. Он же (ссылаясь и на П.В. Нащокина) сообщает о намерении Пушкина “олицетворить идею о человеке, нравственно, так сказать, из чистого золота, который не теряет ценности, куда бы ни попал, где бы ни очутился”⁵. “Великий добрый человек, “великодушный гражданин” был его идеалом.

В проблемно-концептуальном поле “Анджело” – не отдельно взятый судебный казус, а смертельный поединок добра и зла, конфликт между личностью и государством, между человеком и властью.

Добро не может, считал Пушкин, оставаться на субъективном уровне благих пожеланий; оно должно обладать мощной энергетикой и иметь надындивидуальный, общезначимый характер, быть объективировано и легитимно. В связи с этим в “Анджело” и других его сочинениях намечалась (пунктирно, эвентуально, больше в подтексте, чем в прямом постулировании) идея Закона в его высшем интегрально-синтетическом смысле: право сочетается тут с моралью, обычное судопроизводство с совестным судом. За этим можно усматривать и упование на высшего, запредельного Судию. Анджело решал вопрос о законе по упрощенной схеме, в духе предельной формализации и ничем не корректируемого насилия. Закон выступает здесь как антипод свободы, ее непримиримая противоположность: либо свобода (трактуемая как нечто заведомо противоправное, хаотичное, разрушительное), либо закон (как нечто самодостаточное, безотносительно к его реальному содержанию и воздействию на общество). Законность и свобода исключают, по мнению Анджело, друг друга. К моменту его воцарения в судах “дремал карающий закон”. Но затем, повинаясь его воле,

Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло,
На полных площадях, безмолвных от боязни,
По пятницам пошли разыгрываться казни,
И ухо стал опять почесывать народ...

Не закон для человека, а человек для закона – такова позиция Анджело.

Иначе подходит к этому Пушкин. Зло нельзя искоренять злом. К лучшим, наиболее прочным изменениям в обществе ведут не насильственные потрясения, а постепенное усовершенствование нравов. Закон не тождествен власти. Чрезмерная власть портит тех, кто ею владеет и губит тех, кто ей подчинен. Нет, по мнению Пушкина, ни одной моральной власти. Самовластие и безвластие – две стороны одного и того же явления, разные формы беззакония, бесправия. Пушкин не смешивал юриспруденцию с этикой, уголовный кодекс с нравственными нормами. Он исходил из необходимости единства и взаимодополнения права и морали. Моральный закон должен быть душой юридического; сострадание, милосердие, взаимопонимание, взаимопомощь – верх справедливости.

Представление о законе, которое Пушкин противопоставляет произволу и вседозволенности, имеет обобщающий и в известной мере идеально-нормативный характер. Оно призвано выражать объективную истину, потребности общественного развития, коренные интересы людей. Сущее и должное здесь как бы переходят друг в друга. Если гражданские законы ограждаются страхом наказания, то закон в том широком, многообъемлющем смысле, в котором это понятие употребляется Пушкиным, имеет и спонтанные духовные корни и гарантии – в самосознании, совести, долге, убеждениях. В этом контексте поэт и представлял себе, на мой взгляд, свободу в пределах закона. Речь идет не об ее внешней подгонке к любым судебным-процессуальным установлениям, ее ущемлении, подавлении, но об ее упорядочении, дисциплинировании, культуре, нераздельности с морально-правовой ответственностью. Нет свободы без порядка, но нет, не может быть и подлинного правового порядка без свободы. Мысль Пушкина двигалась в этом направлении с первых шагов его творческой деятельности и в дальнейшем все более крепла и углублялась.

Он писал еще в стихотворении “Деревня”:

Я здесь от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить...

И в оде “Вольность”:

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон – а не Природа –
Стоите выше вы Народа
Но вечный выше вас Закон.
<...> Склонитесь первые главы
Под сень надежную Закона
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Было бы неверно ограничивать значение этих строк, локализуя их только в условиях абсолютистской России начала XIX в. В своей идейно-духовной устремленности поэт явно перерастает рамки монархического верноподданства. Он поднимается до уяснения того, что законность, право – не стихийное достояние *естественного* человека, а порождение многострадальной истории общества, его культуры; что закон выше царя и любой власти, как и культура выше политики и идеологии. А человек, его разумно-морально-творческая свобода, его порядочность, доброта, благородство превыше всего в нашем мире. Даже геройство Пушкин подчиняет человечности: “Герой, будь прежде человек”. И еще: “Оставь героя сердце! Что же / Он будет без него? Тиран...”. Друг Пушкина П.А. Плетнев вспоминает, что выше всего поэт ценил в людях благоволение.

Высказывалось мнение, что “Анджело” завершается торжеством добра и справедливости. С этим нельзя согласиться. Если и проглядывает тут луч оптимистического света, то это не идиллически-пасторальный, а трагический оптимизм – надежда, смешанная с тревогой. Да, предобрый Дук возвращается к временно оставленной власти, и действующие лица поэмы под занавес прощают друг друга. Но можно ли понимать это впрямую, буквально, минуя тонкий пародийно-остраненный авторский подтекст? Ведь тиран не раскаялся и остался безнаказанным, корни зла уцелели, а всеобщее примирение замешано на обмане и самообмане. Хорошо, конечно, что удалось в данном случае предотвратить злодейство, удержать тирана за руку, но надолго ли? Ведь это не более чем паллиатив. Вдумаемся в пушкинскую характеристику Дука, формально как бы персонифицирующего доброе начало в поэме. Он лишен даже собственного имени. Примечательна также ироническая избыточность хвалебных эпитетов, которыми автор награждает своего героя: “...народа своего отец чадолюбивый, / друг мира, истины, художеств и наук”. И тут же: “Но власть верховная не терпит слабых рук”. В том-то и дело, в том-то и коренная проблема, которую хотел, мучительно старался решить Пушкин: как соединить твердую, надежную власть, “высокий дух державности”, с одной стороны, и свободу, творческие возможности, добродеяние – с другой. Эта дилемма не поддавалась и все еще не поддается оптимальному решению. Пушкин видел и мужественно признавал эту трудность, поэтому, очевидно, и назвал свою поэму не “Дук” (что могло звучать неоправданно мажорно, победительно, вводя в заблуждение читателей), а “Анджело”, ставя нас тем самым перед еще не решенной задачей, ориентируя на дальнейшие поиски. “Полумеры, – считал он, – никуда не годятся”.

Итак, перед нами не точка, а многоточие, не умиротворенный, апологетичный ответ, а скорее вопрос, открытый, познавательный-оценочный, горизонт, как и во многих лучших произведениях Пушкина: в “Борисе Годунове”, “Полтаве”, “Моцарте и Сальери”, “Каменном госте”, “Пире во время чумы”, “Скупом рыцаре”, “Сценах из рыцарских времен”, “Евгении Онегине”. За этой финальной открытостью – необозримая масштабность пушкинского гения, учитывающего нескончаемость, неоднородность, неравномерность, поливариантность развития; его

вероятностную направленность и непредсказуемые повороты. С этим связана и духовная проективность “Анджело”, его жизненная сила, неувыдаемость. Это поразительный по бесстрашию и пронизательности взгляд в глубины, омуты, “противочувствия” человеческой души (предвосхищающие открытия Достоевского, Л. Толстого, Чехова). Это полное горечи признание неискоренимости зла в мире и необходимости тем не менее бороться с ним, сколько хватит сил (в чем-то перекликающееся с нашим временем, с “Мастером и Маргаритой” Булгакова и трагически-жизнеутверждающим пафосом Платонова, Ахматовой, Цветаевой). Это могучий всечеловеческий голос русской совести, поэтический “Sos” – призыв к спасению наших душ на краю бездны. Это страстная, неугасимая, несмотря ни на что, жажда личной духовной свободы, разумной и просвещенной, которая есть прообраз свободы вообще. Чем менее свободны герои “Анджело”, тем громче эта поэма вопиет о свободе, ее необходимости людям. Тут еще нет катарсиса, он лишь намечен, обещан, завещан, спроецирован в надежду. “Будем надеяться! – призывает Пушкин. – Всегда нужно питать надежду”.

Глубочайший смысл “Анджело” состоит, по-моему, в том, что один из существенных фрагментов духовно-нравственного завещания Пушкина, обращенного к нам, потомкам, ориентированного на все времена: люди, оставайтесь до конца людьми, достойными своего призвания в мире, неустанно стремитесь к свободе; будьте отважны душой, терпимы и милосердны; любите и творите добро, боритесь за него, спасайте его!

ПОЭТ И НАРОДНОЕ ВОЛЬНОМЫСЛИЕ

...Кипит в груди свобода.

А.С. Пушкин

Народ, его трудная жизнь и творческие возможности всегда привлекали пристальное внимание Пушкина, его сочувственный интерес. Личность и народ рассматриваются им в единстве: “Человек и народ. Судьба человеческая и судьба народная”. Особо занимали его “образ мыслей и чувствований” народа, народная самобытность. “Взгляните на русского крестьянина, – писал он, – есть ли тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего”. Поэт обеспокоен тяготами народной жизни: “Я думал о судьбе русского крестьянина... что может быть несчастнее русского крестьянина?” Глубоко изучая историю освободительного движения и даже называя себя историографом Пугачева, Пушкин характеризует его воззвание к яицким казакам как образец народного красноречия. Разина он считал типичнейшим образом русской истории. Известна любовь поэта к фольклору – песням, сказкам, сказаниям, пословицам и поговоркам, к их душевной глубине и живописности.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

Существует мнение, что между умонастроением “низов” и духовной культурой есть непреодолимый барьер; первое фатально ограничено стихийной бытовой повседневностью, рамками обыденного сознания, равнодушно к высоким идеям. Но это не так. Тут, как и везде, нужен конкретный, дифференцированный подход. Конечно же, на пути трудового люда к знаниям стояло множество преград и масса людей оставались в условиях крепостного строя бесправными и неграмотными, но и тогда находились простолюдины, наделенные особым упорством, волей и способностями, которым удавалось в той или иной мере преодолевать эти преграды, приобщаться к достижениям культуры. Значение этих локальных, спорадических прорывов не следует преувеличивать, но их нельзя не замечать. Самородки из “низов” (грамотеи-дворовые, мастеровые, солдаты, своеобразная крепостная интеллигенция), отважившиеся на критику существующих порядков, подвергались жестокому преследованиям как еретики-вольнодумцы. Их заточали в казематы Петропавловской крепости, в Соловецкий монастырь, ссылали в Сибирь; их “делами” нередко интересовался Николай I. Отобранные у них при аресте тетрадки-рукописи оседали в тайниках политической полиции как вещественные доказательства крамолы. Их имена и судьбы остаются большей частью в тени. Между тем факты такого рода составляют важный компонент истории мысли, они свидетельствуют о неиссякаемой народной одаренности, и без их учета эта история не может быть в полной мере осознана как драма идей.

Огромная роль в развитии русского просвещения принадлежит художественной литературе, и прежде всего Пушкину – величайшему провозвестнику свободы в нашей стране. “Только звонкая и широкая песнь Пушкина, – отмечает А.И. Герцен, имея в виду последекабристские годы, – раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением”⁶. Не следует забывать, однако, что сам поэт находился под секретным полицейским надзором, его письма перлюстрировались, он был “невыездным”.

Есть и более ранние примеры приобщения людей из народа к отечественной культуре. Еще в XVIII в. идеями Ломоносова интересовались русские купцы – выходцы из крепостного люда – Петр Дементьев, бывший ямщик Василий Каржавин, его сын Федор, ставший просветителем-вольнодумцем, сподвижником Новикова. Позднее в 20-е годы XIX в., с трудами родоначальника естествознания в России знакомился молодой подмосковный крестьянин Петр Борисов. Он читал также Державина, Сумарокова, Дмитриева, Жуковского. Знавший его современник особо примечает в этом мыслителе из народа “замашку Ломоносова”. Это видно и из оды П. Борисова, посвященной Московскому университету:

Науками обогащаем
Себя и ближних щедро мы.
Природы книгу раскрываем,
Да умствуют по ней умы⁷.

Влияние Ломоносова испытал в первой половине XIX в. крестьянин-поэт М.Д. Суханов. «С самого детства, – сообщает его знакомый, – наслышавшись о славе своего единоплеменника Ломоносова, полюбил он науки и словесность и без учителя, с одним прилежанием обучался русской грамоте и письму, стал читать лучших русских писателей...». А.И. Палицын, переводчик Вольтера и Руссо, свидетельствует: «...я Ломоносова в пыли видал передних, / куда он для услуг был сослан праздных слуг...»⁸. Немалой популярностью пользовался в кругу книголюбов из народа антиклерикальный, осужденный Синодом памфлет Ломоносова «Гимн бороде». Доходили до них и рукописные копии «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Пушкин замечает, что этот труд можно было встретить «в мешке брадатого разносчика». Особенно любимы были в народе басни Крылова. Путешествовавший по России немец И. Коль вспоминает о встреченном им в одном из помещичьих имений старом дворецком, который не только знал эти басни наизусть, но и читал «Историю государства Российского» Карамзина.

Рано начали доходить до социальных «низов» вольнолюбивые стихи Пушкина. В 1827 г. одесский поэт В.И. Туманский писал о народности его славы. Это подтверждает отданный за непослушание в солдаты, а затем сосланный в Сибирь крестьянин Тимофей Бондарев: «И что бы мы, наш брат крепостной, не читали, – пишет он, – а стихи «Деревня» всегда наизусть знали». С сочинениями Пушкина были знакомы Л.А. Серяков (сын крестьянина-солдата и сам солдат), обогативший русское искусство гравюрой на дереве, крестьянин-поэт Е.И. Алиханов, бывший крепостной И.К. Зайцев, обучавшийся в Арзамасской школе живописи (он хорошо знал поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Цыганы»). Ода «Вольность» Пушкина была известна в 20-е годы XIX в. одесским вольнодумцам – членам Общества независимых – разночинцам В. Сухачеву, М. Аристову и др. В доносе, присланном в III отделение в марте 1826 г., сообщалось о поэме молодого Пушкина «Гавриилиада», разносящей «пламя мятежа по всем классам общества». Идеи поэта проникали и в армию. Не было в то время, по словам Герцена, ни одного офицера, который бы не носил его стихи в своей полевой сумке, как и ни одного поповича, не снявшего с них множество копий. Эти стихи доходили и до некоторых унтер-офицеров и солдат того времени. В 1825 г. в 17-й пехотной дивизии были изъяты «Деревня» и «Вольность», скрепленные с солдатской рукописью. В тетрадь, отобранную властями в середине 30-х годов у унтер-офицера Петрова, ее владелец наряду с другими сочинениями Пушкина переписал стихотворение «К Чаадаеву». Произведения Пушкина распространялись в первой трети XIX в. среди студентов. Его имя фигурирует в «деле» нелегального и разночинного по составу Сунгуровского кружка. Это «дело» возникло в 1831 г. и было связано с Московским университетом. Участник кружка вольнослушатель Гуров приписывал свои «крамольные» стихи Пушкину с целью придания им популярности в студенческой среде. Царь, ненавидевший Московский университет, который он считал рассадником вольнодумства, лично велел судить сунгуровцев военным

судом. О любви студентов к Пушкину сообщает в 1838 г. рукописный журнал “Зарница”, выходящий в том же университете. Пытались подражать Пушкину и в кругу провинциальных разночинцев. Осенью 1837 г. во Владимире распространялась анонимная “Ода свободы”. Ее интонационно-идейное сходство с пушкинской “Вольностью” очевидно. Пушкин писал:

Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите
Восстаньте, падшие рабы!

Владимирская листовка откликнулась:

Бичи покорного народа!
Вселенной ужас, смерть и страх!

Пушкин:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу...

Владимирская ода:

Тиран, сложи с себя венец!⁹

Царь, встревоженный ростом антиабсолютистских настроений, приказал отыскать автора бунтарской листовки, но сделать этого не удалось. Есть основание полагать, что рукопись возникла в городских “низах”, может быть, в кругу бедных канцеляристов, – из текста явствует, что стоящие за ней люди “отягощены трудами”, черствый хлеб им “стоит стонов”^{*}.

Факты, приведенные мной, свидетельствуют лишь о начале сложного и разноаспектного процесса воздействия Пушкина на народ. Это была первая освободительная волна его поэзии, за ней последовали другие. Поразительна скорость, с которой голос гения дошел до русской “глубинки”, был услышан ее наиболее бесправными, неблагополучными представителями, – тем более в тягчайших условиях крепостной неволи. Это свидетельствует о творческой мощи поэзии Пушкина и о душевно-духовной чуткости русского народа^{*}.

Но Пушкин – это не только некогда запретные, “крамольные” стихи. Просветляющее и раскрепощающее значение имеет *вся* его поэзия (включая гениальную, далекую от злобы дня любовную лирику); новаторская, немногословно-доверительная проза и драматургия, исследую-

^{*} В момент гибели Пушкина – в январе 1837 г. – шло следствие по делу о заговоре группы крепостных интеллигентов, названной “Обществом вольности”, на Чермоозском заводе в Перми. Большинство из них были отданы в солдаты. Николай I велел в связи с этим создать специальную комиссию в составе Бенкендорфа, Сперанского, министров народного просвещения и внутренних дел “для пересмотра существующих постановлений о приеме в учебные заведения молодых людей несвободного состояния...” (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109, IV эксп. Ед. хр. 58. Л. 40). Так еще раз судьба великого поэта пересеклась с драматической участью вольнодумцев из народа.

щие, укрепляющие человеческую душу в экстремальных ситуациях; прихотливые внефабульные отступления, соприродные эпикуровскому смыслообразу “clinamen” (отклонение атомов от прямой линии) – античному предощущению свободы; да и сам образ Пушкина-человека, его природная простота и открытость, исповедальность, жизнелюбие; человеколюбие.

Пушкин вдохновил и подготовил выход на передний край русской литературы нового, ранее не востребованного, незваного героя – обыкновенного, “маленького”, “простого” человека (в действительности же каждый раз особенного и неоднозначного). Хотя поэт принадлежал к духовной элите дворянства, не дворцы и салоны, а родная русская деревня и кибитка кочевая служили естественным ареалом его замыслов. “Политическая наша свобода, – говорил он, – неразлучна с освобождением крестьян”. И далее: “У всякого свой ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя”. Поэт делил людей не по званиям и положению, а по призванию и поведению, особенно ценя их личные достоинства – совесть и милосердие, духовную независимость и творческий порыв. Истоки этих черт, считал он, коренятся в народе. Сказочница-няня Арина Родионовна, Петр Гринев и его слуга – стреманный Савельич (из “Капитанской дочки”), бедный питерский чиновник Евгений (из “Медного всадника”), “суший мученик” – станционный смотритель Симеон Вырин (из “Повестей Белкина”) ближе и интересней Пушкину, чем преуспевшие торжествующие богачи и сановники. “Простое величие простых людей”, – так характеризует это его прозрение Гоголь.

Лейтмотивом жизни и мироведения Пушкина стала свобода, любовь к ней, борьба за нее. Свободу он понимал по-разному в разные периоды своей эволюции: и чувственно, ренессансно (“поклонник дружеской свободы, / веселий, граций и ума”, “свобода, радость, восхищение”); и как своего рода эманацию, ауру природы, стихийной энергетики моря, ветра, бури, орлиного полета; и в плане романтизированной либерально-мятежной оппозиционности, как гражданскую отвагу; и как упоение в бою на краю бездны; и как духовное самораскрытие, самоопределение, самоосуществление личности. Но главными для него всегда оставались моральный потенциал, человечность, жизнеутверждающая направленность свободы. Свобода не заемна, это не чей-то дар, не “шуба с барского плеча”, не произвол, не предустановленная гармония, а вечный поиск человека, горение его души, его духовная сущность, вырабатываемая собственными самоотверженными усилиями; она нераздельна с моральным самоограничением, смирением (понимаемым, конечно, не как слепая покорность, самоуничижительность, а в смысле обуздания собственной гордыни). Истинная (или, по слову Пушкина, “тайная”, т.е. сокровенно-глубинная, заповедная, первоценная) свобода – это антипод принуждения, рабства (в самом широком значении этого слова, включающем “суетные оковы”, любые проявления рабского сознания). К этой выстрадавшей и вместе с тем такой самородной, органичной и светлой свободе (а не к каким-то извне диктуемым идеологическим догмам) восходят народность,

гражданственность, патриотизм Пушкина. Отсюда и всенародная любовь к нему.

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой;
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Характеризуя Пушкина как величайшего национального поэта России, Гоголь писал: “В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла”.

Пушкин вошел в историю как поэт свободы.

Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум, —

— вот его жизненный девиз.

ПОЭТ И КРИТИК

Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.

Д. Самойлов

“Талант, подающий большую надежду”, — так отозвался незадолго до своей гибели Пушкин о молодом Белинском¹⁰. Трудно представить себе более несхожих людей. Двигавшиеся по далеким, казалось бы непре-секающимся жизненным орбитам, они и ныне числятся нередко за различными “ведомствами” в истории общественной мысли, разными со-словно-идеологическими структурами. Первый — как представитель ду-ховной элиты дворянского круга, близкого ко “двору”; второй — как один из лидеров молодого, выступавшего под антифеодальным знамен-нем поколения разночинцев-демократов.

Что же означает в связи с этим пушкинское похвальное слово? Со-циально-психологический парадокс? — Нет, одно из прозрений гения, момент истины, звено связи времен; свидетельство того, что единство истории не перекрывается никакими формационно-сословными разме-жеваниями и что культура шире, богаче идеологии.

Согласно старой догматической схеме, история мысли представля-ет собой поле боя, зону идейной непримиримости, нетерпимости, где различные взгляды и направления, спорящие друг с другом, фатально разводились по разные стороны баррикады, объявлялись враждебными партиями и лагерями. Их сутью, назначением признавалось не столько искание истины, сколько беспощадная борьба — до полного разгрома, уничтожения противника. Умственная история предельно политизиро-валась. Отсюда, конечно, не следует, что теперь надо впасть в противо-положную крайность, изображая движение мысли царством благодного покоя. Борьба действительно играет тут (как и в жизни вообще) ог-ромную роль, но отнюдь не становится самоцелью. Разногласия неред-

ко-приобретают остро конфликтный характер. Однако диалогизм несводим к идеологизму, и споры не исключают творческого взаимодействия, взаимопонимания, взаимодополнения. Сократ немислим без существенно контрастирующих с ним досократиков, как и Фейербах, да и Маркс с Энгельсом, без Гегеля.

Так же обстояло дело в России. Последекабристский Пушкин, далеко ушедший от увлечений юности, восславляет тем не менее свободу вослед Радищеву. Достойным преемником пушкинского “Современника” стал некрасовско-добролюбовский “Современник”. Одним из ярких проявлений единства русской культуры (при всех ее противоречиях), живого контакта между ее эпохами и направлениями является и дружеский привет родоначальника русской классики, ее высочайшей звезды начинающему критику-бунтарю.

Белинский попал в поле зрения Пушкина начиная со своего блестящего дебюта в 1834 г. – программной статьи “Литературные мечтания”. Интерес Пушкина к этой работе был немедленно зафиксирован их современником историком М.П. Погодиным. Поэт А.В. Кольцов пишет Белинскому 10 января 1841 г.: «На днях я был у Чаадаева, он говорил ... что в “Наблюдателе” или “Телескопе” была напечатана ваша статья о Пушкине и что он ее показывал ему. Пушкин прочел с большой охотой и после прислал ему номер “Современника”, просил передать вам, не сказывая, что он его прислал нарочито для вас»¹¹. Это ретроспекция: речь идет, по-видимому, об одной из глав “Литературных мечтаний”. Примечательно сходство этого произведения с набросками статьи Пушкина “О ничтожестве литературы русской”, датированными тем же годом. Высказывалось даже мнение, что Пушкин приостановил работу над этой темой в связи с появлением “закрывающих” ее статей Белинского; и другое, согласно которому заметки поэта были изначально вдохновлены последним. Уместней, по-моему, отметить в данном случае некоторую общность идейных исканий критика и поэта, их подхода к ряду проблем. Это касается прежде всего трактовки русской словесности в широком социокультурном контексте, в связи с историей общественной мысли, духом Просвещения. Поэт и критик стремились вывить логику литературного процесса.

Важную роль в установлении связи между Пушкиным и Белинским играли П.В. Нащокин, М.С. Щепкин, П.Я. Чаадаев. Но главным иницирующим началом был сам поэт, стремившийся привлечь критика к участию в своем журнале. Первый номер его “Современника” вышел весной 1836 г. Белинский сразу откликнулся на него в “Молве” (приложении к надеждинскому журналу “Телескоп”, где публиковались и “Литературные мечтания”. В домашней библиотеке Пушкина сохранялись номера, разрезанные как раз там, где находились статьи Белинского. 27 мая 1836 г. Поэт предлагает Нащокину послать Критику экземпляр своего журнала, добавляя: “...вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться”¹². Между ними намечалась встреча, которую готовили в Москве Нащокин, Щепкин и Чаадаев. Последний пишет Пушкину в первой половине мая 1836 г.: “Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина”. Встреча с Белинским не состоялась из-за

внезапного отъезда поэта в Петербург. Есть данные о посещении Пушкиным актера Щепкина с целью повидать Белинского. П.В. Анненков вспоминает слова поэта о критике: “очень меня любит” и “у Белинского есть чему поучиться”. Осенью 1836 г. Пушкин снова собирался в Москву, имея, видимо, в виду договориться, наконец, с критиком о совместной работе. Характерно письмо Нащокина к поэту, посланное тогда же в ответ на его не дошедший до нас запрос. Оно совпало с тревожным моментом, когда над “Телескопом” нависли тучи, связанные с опубликованием “Философического письма” Чаадаева. “Теперь, – писал Нащокин о Белинском, – коли хочешь, он к твоим услугам – я его не видал – но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю”¹³. Но было уже поздно. По “высочайшему” повелению “Телескоп” был закрыт, Надеждин сослан, Чаадаев объявлен сумасшедшим, у Белинского произвели обыск. Связь оборвалась.

Поэт не ограничился похвалой Критику. Он дал ему многостороннюю оценку, выявив уже в его первых выступлениях и теньевые, нарастающие моменты. Сожалея, что этот талантливый человек не сразу был отмечен в “Современнике”, Пушкин продолжает: “Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности – словом, более зрелости, то мы имели бы в нем критика весьма замечательного”¹⁴. Здесь дана по сути целая программа развития, намечены главные ориентиры, высказаны предостережения. Много из этого было учтено. Белинский придавал огромное значение пушкинскому отзыву о себе. “Больше всего... – писал он Гоголю 20 апреля 1842 г., – меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое такой человек как Пушкин и что такое одобрение со стороны такого человека как Пушкин”¹⁵. Просветляющее, цивилизующее воздействие Пушкина на Белинского, по-моему, еще не вполне осознано. Это воздействие распространялось в разных направлениях и прежде всего по линии укрепления духовно-нравственного здоровья (образцом которого был поэт); понимания свободы как разумного, морально обеспеченного, творческого самоосуществления; чувства меры; объективности анализа. Пушкин сыграл немалую роль в преодолении Белинским субъективно-идеалистических настроений, его переходе к реализму.

Одним из моментов на этом пути было так называемое примирение с действительностью. Его принято толковать в чисто негативном плане, как нечто сугубо ущербное, прямую капитуляцию перед существующим строем под натиском правогегельянских идей. Но пафос “примирения” не покрывался политической конъюнктурой, он имел и общебытийную метафизическую направленность. Речь шла и о возвращении “блудного сына” – воссоединении человека с природой, слиянии с Универсумом. В пору увлечения гегелевской философией (уже после смерти Пушкина), ее формулой разумной действительности, Белин-

ский не сводил проблему “примирения” к оправданию реакции. Не обошлось, конечно, без крайностей, о которых он потом горько сожалел. Гегель воспринимался тогда им и Бакуниным однобоко, прямолинейно. В целом же это была, скорее, переходная, правоцентристская тенденция: законченными старогегельянцами реакционно-апологетического толка они не были.

Да и не в Гегеле только дело. “...в горниле моего духа, – признает Белинский, – выработалось самобытное значение великого слова действительность”. На отход Белинского от фихтеанства, интерпретированного им в 1836 г. по-якобински, как философский робеспьеризм, несомненно, влияла русская классика, в первую очередь Пушкин, его постдекабристская эволюция, его корневая связь с отечественной историей и культурой. Именно Пушкин с его историческим чутьем, верностью традиции, его жизнеутверждающим творчеством помог Белинскому освободиться от романтических иллюзий “абстрактного героизма” и стать на ноги, на почву реальной действительности. Пушкинская поэзия, подчеркивает он, насквозь проникнута действительностью. И вслед за поэтом формулирует свое кредо: “Надо жить, надо двигаться в живой действительности”. Свобода бесстрашия или свобода как бесстрашие – важнейший урок и завет поэта, воспринятый критиком. Философские искания Белинского, Бакунина, Станкевича, Киреевского и других представителей молодой России были в свою очередь благожелательно отмечены Пушкиным. “Умствования великих европейских мыслителей, – писал он в 1836 г., – не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком малопонятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно”¹⁶.

Интерес к Белинскому проявился в самый трудный, переломный, мучительный период жизни Пушкина. Это был, по выражению Жуковского, “непреодолимый порыв гибельных обстоятельств”. Усиливалось цензурно-полицейское давление, ту же затягивалась долговая петля, нарастала журнальная травля, разворачивалась дантесовско-геккеренская интрига, пиком которой стали анонимные пасквилы. Назревал, судя по всему, и внутренний духовный кризис, связанный с историческими сдвигами в обществе, его настроениями, стилистике, вкусах, необходимостью многое переосмыслить, переоценить. Все это наслаивалось на естественную усталость и одиночество, порождая моменты депрессии, порой отчаяния. “Он печален, подавлен, не спит по ночам”, – писала о муже Наталья Николаевна. Приведу и собственные тогдашние признания поэта. “Меня теребят и бесят без милости”, “я работаю до низложения риз”, “голова кругом идет”, “холопом и шутом не буду и у царя небесного” (1834); “мне не до шуток... я не вижу ничего в будущем”, “жизнь таит в себе горечь, от которой она становится отвратительной, а общество – это мерзкая куча грязи” (1835); “что же теперь со мной будет?”, “исхожу желчью”, “в наши ряды постреливать стали” (1836).

Эту ситуацию отягощал отход от поэта немалой части читателей, восхищавшихся ранее его романтическими поэмами и запретными стихами, но не сумевших оценить по достоинству духовные искания позднего Пушкина, их открытую проблемность, трагическую драматургию. К тому же на него постоянно ополчались (воздействуя в какой-то мере на общественное мнение) Булгарин, Греч, Сенковский, Шевырев, Уваров. Одним из активных хулителей был и Надеждин (заявивший, впрочем, под конец более благожелательную позицию). Внес, к сожалению, свою долю яда и Белинский. Очень высоко ценя Пушкина, видя в нем величайшего поэта России, он присоединился тем не менее к мнению о его закате, творческом угасании в 30-е годы. «Пушкин, – писал он в “Литературных мечтаниях”, – царствовал десять лет. “Борис Годунов” был последним его великим подвигом... Теперь мы не знаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время». Тогда критик еще не знал многих, опубликованных позднее, произведений поэта (что, конечно, несколько не оправдывает его опрометчивых, несправедливых суждений). После смерти поэта Белинский посвятил ему одиннадцать взаимосвязанных статей – свой лучший исследовательский труд, содержащий (впрочем, и на сей раз не без оговорок) высочайшую оценку русского гения; этим он, возможно, хотел искупить свою вину перед Пушкиным.

Легко представить, как ранили поэта попытки хоронить его заживо. Жизнь становилась в тягость, оборачивалась пиром во время чумы. Не в предчувствии ли своей скорой гибели избирается им фольклорный эпиграф к седьмой главе “Капитанской дочки”, не исповедан ли он?

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого.
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

И вот в это самое время, осаждаемый доносами и пасквилями, в отчаянной предсмертной круговерти Пушкин находит в себе силы, мудрость, душевную щедрость, чтобы объективно оценить талант молодого задиристого автора.

Наиболее остро и в чем-то неожиданно отозвался о финальном пересечении их судеб Александр Блок в своей “пушкинской речи”. Это было на том же грозном рубеже, сломе эпох, на котором он еще недавно выплеснулся поэтическим откровением “Двенадцати”. Вспоминая о своем великом предшественнике, он имел, очевидно, в виду и себя, свой *черный вечер*; концы переплетались с началами. «Над смерт-

ным одром Пушкина, – говорил он в речи 10 февраля 1921 г., – раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таким и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так... Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку¹⁷. Упоминание о “лепете” навеяно горьким раздумьем о поспешных высказываниях нашего первого Критика, его полемических перехлестах, его экстреме и вытекающими отсюда современными аллюзиями. Над Блоком нависала угроза идеологического диктата. Но ведь не Белинский же был в ней повинен. Главное в Белинском – не экстремизм, а беззаветная любовь к России, народу, людям, литературе. Это понимал Пушкин. Тут нужен исторический подход. Не следует списывать на человека 40-х годов утилитаристско-нигилистический запал шестидесятника (хотя и Писарев не был законченным нигилистом, а его “ор” – не забудем этого – раздавался из тюремной одиночки). Тем более нельзя возлагать на Виссариона Григорьевича ответственность за Иосифа Виссарионовича, как это часто делают современные публицисты. Разные эпохи, разные люди, разные судьбы.

Слишком часто наша история трактовалась как истерия, ее разбор превращались в “разборки”. Слишком долго Россию, ее культуру рвали на части: критику и публицистику противопоставляли художественной литературе, Некрасова – Пушкину, Блока – Чехову и т.д. Пора взглянуть на прошлое непредвзято, как на свой собственный вчерашний день. Если мы смогли, хотя и с опозданием, переосмыслить опыт гражданской войны, осознав ее как общенациональную трагедию, то можно надеяться, что будет наконец объективно, многомерно, целостно понята и давняя наша история – без крайностей и умолчаний.

Интерес Пушкина к Белинскому – не одномоментная вспышка. Это живая завязь глубинного замысла, проекция духовного сближения Поэта с Критиком. Творческая эстафета передавалась от одного поколения и направления к другому. Так было, так должно быть. Это особенно уместно подчеркнуть сейчас, когда утрачены важнейшие критерии и ориентиры, а на смену однолинейному железобетонному мизантропизму пришли беспардонно-эгоцентрический плюрализм и волюнтаризм вседозволенности. То, на что многие еще недавно молились, – правдоискательство Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, – предано забвению или поруганию, а те, кого раньше проклинали, – от Уварова до Леонтьева и Розанова, – возводятся в кумиры. Акафист сменился анафемой и наоборот. История все поставит на место, каждому – свое.

И пример Пушкина, его урок, преподанный нам, как нельзя более кстати. Несколько добрых напутственных слов великого поэта-гуманиста молодому критику – и когда? – в канун собственной катастрофы, убедны на краю: как много это значит!

В ряду философско-исторических вопросов, занимавших и тревоживших Пушкина, особо выделяется проблема сочетания *устойчивости* общества как важнейшего условия народного благополучия с необходимостью его развития, бесконечного *совершенствования*. Ответа на этот вопрос искали и другие просвещенные русские умы, современники и предшественники поэта. Естественно, что в переломные моменты, когда перед Россией вставал вопрос о выборе дальнейшего пути своего развития, формировались разные направления мысли, отстаивались различные модели развития. Наряду с крайними взглядами: лево-радикальной, бунтарской ориентации (декабризм, его отголоски) и впрямую противостоявшей ей официальной абсолютистской доктриной (уваровская идея “православие – самодержавие – народность”), в первой половине XIX в. существовала еще одна, третья, тенденция, которую можно назвать либерально-консервативной. Она не отличалась четкостью идеологических контуров, сколько-нибудь последовательным единомыслием своих сторонников и тем более не была оформлена в виде партии или общественного движения; речь может идти в данном случае скорее о некоем умонастроении, пунктирно-проективной “наметке”. И все же искренность и здравомыслие, характеризующие лучших представителей этого течения, позволяют говорить о намечавшейся продуктивной возможности, реальной заявке на выбор своего особого пути.

В преддверии этой тенденции стоит русский просветитель XVIII в. Н.И. Новиков и, может быть, поздний А.Н. Радищев, а в числе адептов, по-разному, отстаивавших ее в начале XIX в., можно назвать М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова, Н.М. Карамзина, А.С. Грибоедова, П.Я. Чаадаева, А.И. Галича, П.А. Вяземского, А.И. Тургенева и др. Это были весьма разные люди, каждый со своим особым мировидением, вкусами, судьбами. Одни из них больше склонялись к ретроспекции (что не означает само по себе ретроградности), традиционализму, устоям, другие – к проекции, либеральным новациям, терпимости, от души приветствуя, как Пушкин, “племя младое, незнакомое”. Но те и другие стояли за просвещение, порядочность и согласие, поиски компромисса. Нередко эти позиции воспринимались современниками упрощенно, утрированно. Так, в обзоре общественного мнения за 1827 г. Бенкендорф говорил о *партии* Мордвинова (который, как и Сперанский, А.П. Ермолов, попал после восстания декабристов под подозрение властей). Впрочем и раскольничьи скиты сравнивались в этих обзорах с яковинскими клубами: у страха глаза велики.

Пушкин, особенно в свои зрелые годы, был близок к либерально-консервативному направлению, внося в него, естественно, свои характерные особенности; его либерализм (отождествлявшийся со свободомыслием вообще) явно доминировал, преобладал над консерватизмом. Общественный порядок не являлся для него самоцелью или способом сохранения существующего режима любой ценой, увековечивания *status quo*; его ценность обуславливалась степенью его соответствия на

родным интересам. В центре внимания Пушкина находились не политика и идеология (он кстати одним из первых употребил термин “идеологизм” с явно скептическим оттенком), а общая духовно-ценностная ориентация, моральный выбор и прежде всего выбор себя самого, творчески гуманистическое самоопределение. Пушкин ищет ответа в истории, а не в идеологии.

Поэта отличали поразительная цельность и великодушие, чувство меры и справедливости. Прodelав серьезную эволюцию от мятежно-романтических увлечений юности к мощной шекспировской полифонии и реалистически-трагедийному мироощущению, он никогда не изменял своим идеалам жизнелюбия и свободомыслия, оставался верен своим друзьям, в том числе подвергшимся жестокому преследованию; и, разойдясь с ними идейно, продолжал ценить их бесстрашие и самоотречение.

Органика пушкинского историзма выражается в том, что прошлое воспринималось им не умозрительно и отрешенно, как нечто внеположенное и чужое, далекие времена, а лично и сопричастно, как предыстория собственной души и судьбы. История как наука была для него не только летопись, но и исповедью. Пушкин видел в истории общества единый, многосторонний, не однолинейный, неравномерно протекающий процесс. Отсюда его глубокое осознание *связи времен*, исторический такт, пристальный интерес к таким трезвомыслящим историкам, как Гизо и Тьери. Отсюда же и доброжелательное, хотя не однозначное, отношение к Карамзину. Поэт высоко ценил его заслуги, захлеб читая выходящие тома “Истории государства Российского”. Это огромное создание, подчеркивал он, представляет собой не только труд великого писателя, но и подвиг честного человека; древняя Русь открыта им, как Америка Колумбом.

Не все, однако, удовлетворяло Пушкина в концепции маститого историка, – в первую очередь преувеличение роли самодержавно-авторитарного начала как “палладиума” (у древних римлян – статуя вооруженного божества) России. Поэт понимал историческое значение монархии, но отрицательно относился к неограниченному самовластию, деспотизму. Выказывалось мнение, что уважительное отношение к Карамзину исключает принадлежность Пушкину знаменитой эпиграммы: “В его Истории изящность, простота / Доказывают нам без всякого пристрастия / Необходимость самовластия и прелести кнута”. Категорическое отрицание пушкинского авторства этой эпиграммы представляется неубедительным. Благожелательность не исключает принципиальности, требовательности. Иное дело, что поэт сожалел позднее о неоправданной резкости заключительных слов эпиграммы, сказанных в начале его творческой деятельности (1818–1819). “Мне приписывали одну из лучших русских эпиграмм, – замечает он. – Это не лучшая черта моей жизни”. Характерно в данном контексте и следующее воспоминание Пушкина о Карамзине-историке: «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: “Итак, вы рабство предпочитаете свободе”. Карамзин

вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души». Карамзин, в свою очередь, писал о Пушкине: “Служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч.”. История народа, полагал государственный историограф, принадлежит царю. История, возражали ему декабристы, принадлежит народу. “История народа, – писал Пушкин (имея в виду письменную историю, учение об историческом развитии и отдавая при этом дань признания Карамзину-художнику), – принадлежит Поэту”. И далее, накануне своей роковой дуэли: “Истина сильнее царя”.

Будучи поэтом действительности, жизни во всей ее полноте и конкретности, Пушкин не мог смириться со сведением истории к развитию государства. Он признавал огромное значение последнего как организующей, структурирующей и объединяющей силы – особенно в России с ее бескрайними просторами и огромными природными богатствами, но учитывал и другие стороны общественного бытия – хозяйственные отношения, культурный рост, социальный и личностный фактор и, в первую очередь, роль народа как производителя материальных и духовных благ. К этому вопросу он обращался неоднократно и рассматривал его с разных сторон. Народ не есть нечто неизменное и однозначное, он представляет собой переменную величину. “Что был народ, – спрашивает Пушкин, – каковы его образ мысли и чувствований?” – “Одна только история народа может объяснить истинные требования оного...” Народ, согласно поэту, не безлик, он состоит из живых, различных по уму и характеру людей, индивидов, личностей. Индивидуальное и социальное нераздельны, но и несводимы без остатка друг к другу, у каждого свое назначение, своя судьба. “Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная”. Понятие “народ” не ограничивается Пушкиным, судя по всему, людьми физического труда, а понимается широко, многогранно, включая, естественно, и среднее сословие, имеющее разные корни. Поэту чуждо понятие “черный народ” в его сословно-уничижительном смысле, отождествление “черни” с “простыми”, “рядовыми” людьми, “Чернь тупая” или “бешеная” в пушкинском понимании – это внесловное понятие, наиболее деградировавшая, аморальная, непродуктивная часть общества, рекрутируемая из самых разных его слоев, включая – и притом в немалой мере – высшие, правящие круги: беспутно-паркетных царедворцев, “светскую чернь”, захребетников, паразитирующих на народе, высших чиновников и проч., Пушкин ценил и не раз отмечал роль русского дворянства, его культурную миссию, но духовный аристократизм (присущий лучшим представителям различных кругов социума) ставил несравненно выше аристократии чина. “Что значит, – пишет он, – аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли”.

Глубоко уважая народ, его самобытность и самоотверженность, сочувствуя его страданиям, с любовью изучая его творчество – “порывы народного красноречия”, Пушкин не идеализировал его, не был слепым

и неподдержимым народопоклонником-популистом. Народ рассматривался им как многосложное, разноаспектное социальное образование, способное к различным и далеко не всегда предсказуемым метаморфозам: от размытой, недостаточно определившейся безмолвствующей массы (“народ как дети”) и буйной, бесшабашной толпы (“рабыни суеты”) – до разумно упорядоченного гражданского сообщества, – достойного хранителя устоев и заветов, многострадального исторического опыта и мощного генератора творческой энергии.

Пушкина волновало углубляющееся отчуждение, конфликтное расхождение, раскол государственного и народного начал в России, отрыв власти от народа, от интеллигенции, от личности, их жизни, прав и интересов. Он мечтал о сближении государственности и народности, свободы и законов на демократической, гуманной основе: “Власть и свободу, – отмечает он вслед за Радищевым, – сочетать должно на взаимную пользу”. Поиск этого единства проходит красной нитью через многие его произведения, такие как “Борис Годунов” (фокусирующий внимание на одиночестве царя и разобщенности, потерянности народа), “Медный всадник” (драматический поединок Евгения и Петра), “Анджело” (смертельная “ошибка” деспотически-тоталитарного закона-беззакония и личной свободы граждан). “История Пугачева” и “История Петра” взаимодополняют друг друга. “Капитанская дочка” (в центре которой оказывается не столько Маша Миронова и Петр Гринев – тоже дети народа, сколько донской казак и раскольник, “вожатый” Емельян Пугачев, суровая душа которого способна и к жестокости, и к милосердию; поэт называет себя его историографом) как бы служит моральной коррекцией и сокровенно художественным комментарием к официозной (но тоже по-пушкински самобытной, независимой) истории пугачевского бунта. Пушкин сознавал, какие едва ли преодолимые преграды встают на пути соединения столь разноплановых начал, это его мучило. И все же ему хотелось верить в грядущий успех своего замысла. Речь шла, разумеется, не об утопично-противоестественном соединении “пугачевских” и “петровских” установок – это были разные формы насильственного диктата (“В комиссарах – дух самодержавья, / Взрывы Революции – в царях”, – писал впоследствии М. Волошин), но о преодолении всякого волонтаризма, о поиске нового разумно-человеческого пути развития.

Огромное место в ценностной иерархии поэта занимает русский патриотизм, внимание к национальным традициям, вера в будущее своей страны. “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, – утверждал он. – Не уважать оной есть постыдное малодушие”. “Я без прискорбья никогда не мог видеть унижения наших исторических родов”. “У нас нет очарования древности, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству. Прошедшее для нас не существует. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди (дурака) или балом двоюродной сестры”. “Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим”. Было бы неверно думать, что прошлое хоть в какой-то степени заслоняло от Пушкина современность, перекрывало будущее.

Он не закрывал глаза на пороки окружающей действительности, не впадал в наивное или беспринципное примирение с ней. Многие заставляют его страдать. Но поэт свято верил при этом в возможность обновления России, ее освободительное призвание. “Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, – писал он 19 октября 1836 г. Чаадаеву, – как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал”.

В своем понимании путей развития России Пушкин не был ни реакционером, тянущем общество назад, к отжившим социально-политическим порядкам, ни революционером, требующим радикальной насильственной ломки, пренебрегая страданиями современников. “Бунт и революция мне никогда не нравились...” – говорил он Вяземскому 10 июня 1826 г. И десять лет спустя в “Капитанской дочке”: “Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!” Поэту присуще иное – духовно-продуктивное дерзание, “...высшая смелость... изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию”. Воля, считал он, должна уравниваться душевным покоем, стихийный порыв – моральный саморегуляцией. Главное – не в отрицании и разрушении, а в созидании, правдоискательски ориентированном свободлюбии и деятельном человеколюбии.

Пушкин ратовал за эволюционное, хорошо продуманное и подготовленное развитие общества. “Конечно, – писал он, – должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят из одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для общества”.

Пушкин не был “почвенником” в доктринально-каноническом смысле этого слова, не противопоставлял одни народы и культуры другим, не стоял за изоляцию России от остального мира; как не был он и “западником” в расхожем понимании этого термина, в смысле эпигонского преклонения перед всем зарубежным, отказа от своих национальных духовных ценностей или хотя бы их недооценки. Пушкин был и оставался до конца не политиком и идеологом, а художником и мыслителем, европейски просвещенным, общечеловечески ориентированным, свободомыслящим патриотом-гуманистом. И соответственно, его близость к либерально-консервативному направлению вовсе не означает, что он целиком в него вписывается. “Третий путь” был для него лишь условно обозначенным вектором, идейно-психологическим ориентиром, синонимом меры (“есть мера всему”) и порядочности. Это было для него не извне предустановленное направление, а внутренний личный выбор, свой собственный образ мысли и жизни. Искусство и мораль, духовно-творческая свобода и всемирная отзывчивость были для поэта выше, ценнее всякого идеологизма. Пушкин всегда остается Пушкиным.

- 1 Друзья Пушкина. М., 1984. Т. II. С. 359.
- 2 Там же. С. 470.
- 3 Об обязанностях человека, наставление юноше см.: Сочинения Сильвио Пеллико. СПб., 1836. С. III.
- 4 Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М., 1984. С. 355.
- 5 Друзья Пушкина. Т. II. С. 361.
- 6 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 214–215.
- 7 Отечественные записки. 1826, март. С. 507–508.
- 8 Литературный архив, издаваемый П.А. Картавовым. (СПб.) 1902, сент. С. 3.
- 9 Оксман Ю.Г. От “Капитанской дочки” А.С. Пушкина до “Записок охотника” И.С. Тургенева. Саратов, 1959. С. 166; Архив Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Ф. 104. Оп. 1. Ед. хр. 992. Л. 72–72 об.; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109, 1 эксп. Оп. 6. Ед. хр. 353; Рукописный отдел Научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (шифр ГРС 604). Л. 18–19; РАРФ. Ф. 109, 1 эксп. Д. 423. Л. 3, 4об. В то время, когда поэзия Пушкина начала проникать в русскую “глубинку”, просветляя и воодушевляя немало “простых” людей, его всегдашний враг Ф.В. Булгарин сетовал в своем доносе управляющему тайной полицией Фон-Фоку 7 августа 1836 г.: “Никто в целой России не заботится внушать многочисленнейшему сословию, крестьянам понятий об их обязанностях государю... Скажу более: служители, понимая в половину болтанье своих господ, составили себе также какое-то вздорное понятие о вещах и, приезжая в деревню с господами, сносясь с крестьянами, живущими в столицах, и переезжая на жилье в деревню, переливают свой незримый образ мыслей в крестьян” (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Ед. хр. 1880. Л. 2–2об.).
- 10 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 180.
- 11 Кольцов А.В. Сочинения. М., 1965. С. 321.
- 12 Пушкин А.С. Собр. соч. М., 1978. Т. 10. С. 274.
- 13 Переписка А.С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 462–463.
- 14 Пушкин А.С. Собр. соч. Т. 6. С. 180.
- 15 Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 430.
- 16 Пушкин А.С. Собр. соч. Т. 6. С. 126.
- 17 Блок А. Об искусстве. М., 1980. С. 159–160.

П.Я. ЧААДАЕВ И НЕМЕЦКИЙ ИДЕАЛИЗМ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

З.В. Смирнова

О том, чем была для русской мысли второй четверти XIX в. немецкая философия, написано много – и современниками, и позднейшими исследователями. В этой обширной и многообразной литературе лишь немногие страницы посвящены теме, обозначенной в заголовке настоящей статьи. Причин этому немало. Прежде всего – печальная судьба литературного наследия “басманного философа”: ряд материалов, характеризующих его отношение к немецкому идеализму, стал известен